

Валентин Распутин

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

С утра стало известно: умер Валентин Распутин. До последнего дня надеялся, что обойдётся, и он одолеет треклятую болезнь. Верил в это упорно и не хотел ничего слышать. Но вышло по-другому, и на сердце сделалось больно. Видел, как у жены глаза наполнились слезами, и она то и дело подносила ладони к лицу, и недоумение читалось в нём, и отчаяние, она словно бы хотела сказать: «Как же так? Ведь это ж Валентин Распутин!..» Но так ничего и не сказала, ушла в свою комнату. А дочь, она учительница, отодвинула от себя ученические тетрадки, и те теперь враскидь лежали на столе. И в глазах у неё застыло то же смущение, что и у матери. Я мог бы подойти к ней и попытаться успокоить. Но не сделал этого. Не сумел. Заперся в своём кабинете и просидел у окошка до позднего вечера. Бог весть, о чём я тогда думал?.. Какие-то рваные мысли, часто не связанные друг с другом, посещали меня, картинки разные. Иные из них укладывались в голове и обрастали деталями. В какой-то момент увидел себя, студента Иркутского госуниверситета, в фундаментальной научной библиотеке. Сидел тогда в полупустом читальном зале за столиком, заваленном стихами поэтов Серебряного века. Я тогда писал стихи и интересовался только поэзией. Когда ж бросил листать книжки, увидел за соседним столиком худенького, русоголового парня в серой рубашке в клеточку, тот проглядывал подшивку какой-то газеты, по-моему, это была «Советская молодёжь». Поколебавшись, подсел к нему:

— Ну и о чём там пишут?..

Он поднял голову, мгновение-другое разглядывал меня с насмешливым прищуром в глазах, а потом спросил:

— Ты кто будешь-то?

А когда узнал, что я студент первого курса, усмехнулся:

— То-то гляжу, смелый больно...

И снова стал листать газеты. Про меня вроде бы запомнил, и я, вздохнув, встал на ноги и потянулся к своему столику, когда он сказал:

— Ты небось курящий?..

Я кивнул.

— И наверняка не знаешь, где тут курилка?..

Я опять кивнул.

— Пойдём, покажу, где она тут.

Он закрыл подшивку, и через минуту-другую мы оказались в каком-то закутке, освещаемом слабым электрическим светом. Сели на старенькую скрипучую лавчонку, прислонённую к стене, наверное, для того, чтоб не сползла на пол.

— Меня Валентином звать. А тебя?..

Я ответил. На лице у него появилась улыбка, короткая, на малый вздох. Должно быть, его слегка удивило моё имя. Но я привык к этому и сделал вид, что ничего не заметил. Да и не до того было. Подошли какие-то парни, кажется, студенты. И он заговорил с ними, а потом ушёл.

Встретился я с ним через день в той же библиотеке, и мы снова пару-другую раз

ходили в закуток, хотя сам он не курил. Обычно присаживался на скамейку с краешка самого, чуть подавшись вперёд и подперев ладонью голову, как если бы весь уходил в себя. Говорили мы мало. Он, судя по всему, от природы был молчалив, а мне, первокурснику, не по чину было лезть со своими разговорами к старшему товарищу. А ведь мы были ровесниками, просто не выпало мне поступить университет после школы. Надо сказать, почтительное отношение к Валентину осталось у меня на всю жизнь. И, по правде-то, ничего другого никогда и не хотелось, устраивало то, что почувствовал к нему с первого же дня нашего знакомства. Я нередко ощущал, точно бы некие токи протягивались ко мне от Валентина Распутина и помогали выстоять и в самые худшие для меня минуты. А и впрямь было в нём что-то такое, как если бы не от мира сего, теперь-то я точно знаю.

Примерно через полгода увидел я Валентина Распутина на одном из заседаний университетского литературного объединения, которым руководил наш преподаватель, замечательный критик и литературовед Василий Прокофьевич Трушкин. Шло обсуждение чьих-то стихов, и шло ни шатко ни валко, выставленные стихи не давали возможности раскрыться воображению, были привычны для нашего слуха и ничего не подвигали в сознании.

— Тоска-то какая, — недовольно сказал один из членов литкружка. — Хоть теперь же полезай в петлю!..

Кто-то хмыкнул, а кто-то в нетерпении вскочил с места. Но Валентин даже не пошевелился, всё так же сидел на своём месте, чуть прикрыв глаза и ни на кого не глядя. И только когда мы вышли из аудитории, где проходило заседание, негромко, не обращаясь ни к кому, как бы для себя, сказал:

— Нехорошо это...

В нём жила некая деликатность, чувство редко у кого встречаемое, хотя внешне он производил впечатление человека довольно хмурого и вроде бы даже слегка отстранённого от ближнего мира. Это, наверное, оттого, что порой он так глубоко уходил в себя, во всё то, что жило в душе, что думать о чём-то ещё у него просто не доставало сил. Помню, как-то в разговоре со мной он назвал мою жену «бабушкой». А потом посмотрел мне в глаза и, заметив них недоумение, тут же обронил смущенно:

— Но ведь ты сам... Сам...

Я сказал, что всё в норме, о чём тут говорить, время-то вон как бежит, и мы уж давно не те...

Валентин вроде бы согласился со мной, но ещё долго не мог успокоиться, я это чувствовал и мысленно поругивал себя, хотя и не понимал за что...

Мы окончили университет и разъехались кто куда... И вновь встретились, кажется, в 1962 году в Новосибирске. В этом городе при местной студии телевидения тогда была открыта школа, где обучали молодых журналистов разным телевизионным премудростям. Тоска, одним словом!.. Помню, сидишь перед «ящиком» и слушаешь занудь некоего, чаще московского, трепача, и — выть хочется. Валентин тогда работал на Красноярском телевидении, а я в Улан-Удэ на бурятском... Ну, встретились, добились, чтоб нас поселили в одной комнате, а с утра пошли на занятия, чтоб уже к вечеру другого дня позабыть про них совершенно, сыскались дела поважнее. Мы подолгу бродили по широким улицам Новосибирска, иной раз заглядывали в питейные заведения. Разумеется, в те, что подешевле. Но это по первости, когда была денежка. А потом её не стало. Валентин спросил у меня:

— Тебе жена ничего не заказывала?..

— Заказывала. Туфли.

— И моя заказывала, — вздохнул Валентин. — И тоже туфли... И что будем делать?

— А что тут сделаешь? Придётся ехать домой с пустыми руками.

Сидели тогда в маленькой гостиничной комнате с обросшими густым слоем ржавой пыли узкими окнами, выходящими во двор, заставленный машинами. Настроение было, сами понимаете, какое... И тут вдруг Валентин говорит:

— А что? Попробуем?..

Накинул на плечи куртку, вышел из комнаты. Вернулся за полдень, довольный собой:

— Собирайся, да поживей. Пойдем в бухгалтерию, там кое-что причитается нам за инсценировку одной очень известной повести. Инсценировку я сделал ночью, пока ты спал. — Осторожно, свично со своей натурой, улыбнулся: — Надеюсь, хватит на туфли?..

Хватило!..

Потом был Читинский семинар, куда приехали молодые литераторы со всей Сибири, на всю страну прозвучали имена Валентина Распутина и Александра Вампилова, Геннадия Машкина и Владимира Корнакова. А чуть позже появилась публикация в центральной печати распутинского рассказа «Я забыл спросить у Лёшки». Публикация вызвала живейший интерес у читающей публики. И справедливо. Сам я тоже поддался очарованию этого сочинения, вдруг стал подумывать о том, а не перейти ли мне на прозу?.. Правду сказать, не ожидал от себя этого. Но, видать, так сильно было впечатление от рассказа, что растолкало в душе у меня.

Шли годы. Имя Валентина Распутина приобрело популярность. Его повестями зачитывались, и вот уж без них стало невозможно представить себе русскую литературу. Я изредка звонил ему, мы говорили чаще о вещах малозначимых и редко когда о делах литературных. А однажды, году этак в восьмидесятом, по теплу уж, Валентин Распутин приехал в Улан-Удэ с собственным корреспондентом газеты «Советская культура» Владимиром Ивашковским. Поселился в местной гостинице и позвонил мне. Я не мешкал, отыскал люкс, мне сказали, что в нём остановился Валентин Распутин.

В люксе было много людей, оживлённо за чарочкой водки о чём-то беседующих. Но не было Валентина. Володя сказал, что он в соседнем номере, и я пошёл туда. Комнатка оказалась маленькой, неухоженной, с побитой штукатуркой. Распутин сидел на кровати и что-то записывал в блокнот. Увидев меня, встал, предложил мне стул, а потом снова опустился на жёсткую гостиничную койку.

— Что же ты не в люксе-то? — спросил я. — Там небось и посветлее будет. И попросторней.

— Не хочу, — сказал он. — Шумно там. У Володи-то много друзей в этом городе. Пусть погуляет. Отдохнёт.

Вот так-то!.. В нём чаще неприметно, не на погляд, жило добрососедское, я бы так назвал его, беспокойство о тех, кто находился рядом. Он тогда всё спрашивал у меня, чем я живу и как, и не надо ли мне чего, я что-то отвечал, слегка робея. Мне и впрямь ничего не надо было, лишь бы сохранялась возможность хоть изредка оставаться наедине с письменным столом.

В тот день ближе к вечеру я познакомил его с моим другом, известным бурятским писателем Цыденжапом Жимбиевым. Валентин говорил с ним о бурятском искусстве, о скульпторах Бурятии, которые в ту пору уверенно выходили на мировую арену. Цыденжап подарил Распутину свою новую книгу «Год огненной змеи». Валентин потом признавался, что за ночь одолел роман, и был доволен тем, что не зря потратил время на чтение.

Надо сказать, Валентин трепетно относился к литературному творчеству. Был прост и одновременно суров в суждениях, не любил фальши и дурнословья, до последнего своего дня интересовался новинками литературы. Я всегда удивлялся, как он успевал столько прочесть, а затем вынести своё мнение о прочитанном, ведь занятой-то был по самое «не могу».

В восьмидесятые годы в журнале «Сибирские огни» вышел мой роман «Байкал — море священное», и я позвонил Валентину и попросил, коль сыщется время, прочесть роман. Он усмехнулся и сказал:

— А я уже прочитал...

— Ну и... — пробормотал я.

— Хорошо, — сказал он.

Наверное, мне повезло. Едва ли не каждая моя публикация через какое-то время оказывалась у него на столе. Так было с романом «Милосердие», увидевшим свет на страницах «Сибирских огней», и с романом «Берег времени», опубликованным в журнале «Москва». И с романом «Будда». Про «Берег времени» он сказал: «Сложновато, конечно, но как же без этого?.. Надо будет читателю поднапрячь мозги». А про «Будду»... Тут посложнее. Месяц прошёл, как книга вышла, а от Распутина ни весточки. Но вот однажды ближе к вечеру раздался телефонный звонок, звонил Валентин, он сообщил, что Правление Союза писателей России намерено провести обсуждение моего романа. Спросил: «Согласен?..» Я не возражал.

И вот что он сказал на этом обсуждении: «Такую замечательную книгу мог написать только человек, в котором течёт восточная кровь. Это чувствуешь сразу, как и зов предков. Но видишь и русскость автора. Это накладывается, и я рад, что всё получилось так удачно. Читаешь книгу, и вспоминаешь другого замечательного писателя — Исаю Калашникова и его роман «Жестокий век». Оба эти произведения стоят в одном ряду».

Так всё и было, и как же теперь мне, да и всем нам, не хватает этого удивительного человека!..

В тот раз в гостинице Валентин сказал, что завтра поедет в Кяхту, хочется ему написать очерк о старинном русском городе. Предложил и мне «прокатиться» с ним. Я охотно согласился. Но не получилось, подзадержали дела, да не мои, а те, что нет-нет да и подкидывает нам начальство по своей ли воле, по указанию ли свыше. Короче, кому-то, видать, не хотелось, чтоб я провёл день-другой в обществе Распутина. Вот и отодвинули меня в сторону. Но да Бог с ними, со всеми! Мало ли что...

Валентин съездил в Кяхту. Старинный сибирский городок пришёлся ему по душе, и он сказал про это, а ещё и про то, что в Кяхте у него теперь появились друзья. А потом он уехал, но через год снова оказался в Бурятии. И я снова встретился с ним в той же гостинице и едва ли не в той же самой комнатке, где он провёл ночь перед поездкой в Кяхту. Он был пуще прежнего молчалив и, как мне показалось, замкнут на себе, и у меня возникло чувство, что он теперь думает только о будущей своей книге, и ему не хотелось бы, чтоб кто-то, хотя бы и нечаянно, сбил его с мысли. Впрочем, и в этот раз он нашёл время съездить ко мне домой, чтоб выпить чашку густого зелёного чая с молоком.

Шли дни, схожие друг с другом отчуждённостью от людей, не сулящие им и малого душевного равновесия. Грустно было смотреть на то, что совершалось на отчей земле. Тягостно. Помню, в те дни писатели Бурятии собрались на свой очередной съезд. Приехали гости из других городов, в их числе и Сергей Владимирович Михалков. Съезд шёл ни шатко ни валко, и я почти ничего не запомнил из того, о чём на нём говорили, очнулся, когда меня вызвали на трибуну. Я, конечно, знал, что и мне предоставят слово, а только вялое течение съезда вроде бы как усыпило меня, и я обо всём запамятовал. Ну, вышел я на трибуну и заговорил о гражданской войне. Я тогда писал роман о генерале Каппеле и о красном комдиве, противостоящем ему. Сказал, что нельзя людей делить на белых и красных, как принято нынче, одних записывая в герои, а других кляня почём зря, что и те и другие одинаково заслуживают уважительного к себе отношения. И надо бы нам поменять в своей душе и пожалеть людей, невесть кем и для чего в который уж раз втянутых в братоубийственную войну.

Для того времени мои слова, чуждые общепринятой морали, пожалуй, прозвучали как гром среди ясного неба. Наверное, поэтому, а почему бы ещё, секретарь по идеологии Бурятского обкома КПСС Лидия Нимаева в своём выступлении решительно заявила, что «Ким Николаевич противопоставляет себя линии нашей партии, и ему не место в рядах советских писателей».

Вот так-то, ни больше ни меньше! Я, конечно, растерялся, разные дурные мысли забродили в моей голове, особенно когда иные из моих приятелей стали обходить меня стороной. Хорошо, что в тот день ко мне подошёл «адмирал», человек, судя по всему, добросердечный, не помню его имени, не знаю даже, был ли он и впрямь адмиралом, знаю только, что он всегда сопровождал Михалкова в его поездках по России, и сказал:

— А Сергею Владимировичу понравилось твоё выступление.

Может, это, а может, то, что я уж привык к тому, что иной раз на меня навешивали ярлыки, про которые и говорить-то вслух совестно, подействовало на меня успокаивающе. Помнится, деревню, о которой я написал в романе «Его родовое имя», некий критик назвал «Архипелагом Нестериха». И, кажется, был очень доволен собой.

Я говорю об этом столь пространно по той простой причине, что после этого съезда случился крутой поворот в моей жизни. Бог знает, что стало тому причиной: то ли складывающаяся вокруг меня недружественная атмосфера, то ли сам вдруг сбрындил. Короче, уже на другой день сказал жене: «Готовься к переезду, мы покидаем благословенную Бурятию». Она, зная моё упрямство, не стала спорить. А я засел за телефон и принялся обзванивать друзей, которые жили в других городах. Тогда-то и получил приглашение из Новосибирска, а потом и из Ленинграда. Позже позвонил Валентину Распутину, он не без удивления в голосе спросил:

— А зачем в Питер?.. Да и Новосибирск далековато от Байкала, а без него, знаю, худо тебе будет. Пропадёшь.

Всё верно. Чего же я сразу-то об этом не подумал?

Вот так мы с женой и оказались в городе нашей юности. Приняли нас хорошо. Правда, кое-какие трудности возникли у жены с устройством на работу. Но Валентин, ни слова мне не говоря, нашёл время встретиться с тогдашним председателем Иркутской телерадиокомпании, и всё наладилось. Вот такой он был человек, близко к сердцу принимавший всё, что происходило рядом ли с ним, на приличном ли отдалении.

Вчитайтесь в его повести. Сколько же в них нежности и доброты даже и к тем, кто уже вычеркнул себя из жизни, однажды сбившись с пути и так и не отыскав другой дороги! Он отдавал людям всё, что имел, душу свою. И мучительно страдал, если вдруг оказывался неспособен помочь. Он жил людскими болями и радостями. Чаше болями. И они истачивали его большое сердце, но были неспособны что-либо поменять в нём.

Помнится, году в девяностом я написал стихи:

*Знает, помнит Божья лира,
Как усть-удинский пацан
Разгадал загадки мира,
У которых нет конца.
И начала тоже нету.
И пребудет вдалеке
Сотворённое поэтом
На таланте и тоске.
Что есть рай? Души отрада.
Что есть ад? Мерцанье тьмы.
Близ кладбищенской ограды
Пребываем нынче мы.*

*Всё то было. Боль и горе,
И хмельной любви угар.
И «Прощание с Матёрой»,
И на отчине «Пожар».
Тяжко, брат мой, в этом мире
Средь порушия и зла.
Но божественная лира
Не угасла, не ушла.*

Я прочитал стихи Валентину, он послушал и сказал грустно:

— Да, брат, тяжело...

А 15 сентября 1997 года в день моего рождения подарил мне двухтомник своих избранных произведений с такой надписью:

«Дорогому Киму, юбиляру, от юбиляра (мы с ним ровесники. — *Авт.*):

Разделив шестьдесят на две доли,

Нам останется ровно по тридцать.

Поле, поле, широкое поле!

Отчего молодецки не свистнуть?!»

А ещё тогда он подарил мне икону Христа Спасителя и «золотую» ручку. Икона по сей день висит у меня в кабинете. Храню я и «золотую» ручку.

Он любил отчуждённую землю, страстно и горячо, понимая про все её страдания. Помню, как-то он приехал на 134-й километр Кругобайкальской железной дороги с немецкими друзьями, там я обитаю в маленьком старом домике, стоящем на берегу Байкала. Хорошо там, рядом ни одного жилого строения, кроме добротного и в малости не остаревшего барака, а ведь и этот барак, как и мой домик, был построен в начале прошлого века. И по сей день живут в том бараке люди добрые, отзывчивые. Они, когда узнали, что в наше поселё, которое в прежнее время носило гордое имя — Пыловка, а теперь кличется «Километром», приехал Валентин Распутин с друзьями, тут же чуть на отшибе от моего домика развели костёр, сварили уху из омуля, нажарили на рожне хариуса, а потом раскинули на траве скатерть с разною таёжною снедью. И, что приятно, никто из них не лез с разговорами к дорогому гостю, как если бы понимая, что не надо мешать ему. И он ощутил это трепетное к себе отношение и был благодарен моим соседям.

Каждое утро Валентин уходил на берег Байкала и часами просиживал на Чёрных Камнях (есть у нас там такое дивное, сокрытое от солнца разлапистыми деревьями место) и предавался своим мыслям.

Перед отъездом он сказал, что ещё приедет сюда, уж очень ему здесь понравилось, думается тут хорошо.

Но, видать, не судьба...

Уходит эпоха. Наверное, немного останется от неё в памяти грядущих поколений. Уж слишком неоднозначной была она, слишком уж захватанная жадными чиновными руками, а ещё и теми, на которых по сию пору не высохла братняя кровь. Но имя Валентина Григорьевича Распутина и людей, близких ему по духу и таланту, будет жить до тех пор, пока стоит Русь.

Низко склоняю пред прахом его свою седую голову, верю в восхождение души его к Божьему престолу.

Ким БАЛКОВ